



ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Ответы на вопросы анкеты «Достоевский — сегодня?»

Достоевский — сегодня? Вместо предисловия

Нижеприведенные вопросы были заданы Генриху Бёллю, Зигфриду Ленцу, Андре Мальро и Хансу Эриху Носсаку. При этом, естественно, не предполагалось, что каждый из них ответит на все пункты анкеты. Опрошенным была дана свобода оставить тот или другой вопрос без внимания, объединить несколько пунктов под одной рубрикой и даже посмотреть на поставленные вопросы совершенно с иной стороны — так, словно они были сформулированы принципиально иначе.

Манес Шпербер

I

1. Когда Вам впервые стало известно имя Достоевского? Когда Вам впервые попали в руки его книги? Какая из книг была для Вас первой?

2. В состоянии ли Вы вспомнить, что произвело на Вас самое сильное впечатление при первом чтении? Что сегодня представляется Вам наиболее примечательным в том же самом произведении (в литературном или каком-либо ином отношении)? Насколько прочно осталось у Вас в памяти первое прочитанное произведение?

3. Когда Вы впервые читали одну из книг Достоевского, Вы, конечно, были знакомы со многими другими литературными произведениями, в том числе немецких авторов. Было ли у Вас ощущение содержательного или формального сходства между

Достоевским и другими писателями? Или он произвел на Вас впечатление чего-то уникального?

4. Испытали ли Вы на себе влияние Достоевского, когда сами начинали писать? Например, в выборе темы, формы, в обрисовке главных и второстепенных персонажей.

5. Минуло много лет с тех пор, как Вы впервые читали Достоевского. Вероятно, сегодня Вы знакомы с его творчеством в полном объеме, и некоторые из его книг всегда остаются для Вас актуальными. Какие это книги? И почему именно они, а не другие?

6. Некоторые критики и эссеисты упорно придерживались мнения, что Толстого и Достоевского следует рассматривать как прототипически различающихся писателей, если не сказать: вообще противоположных. Если это справедливо: кто из них Вам ближе? И почему?

II

1. В Вашем творчестве отражается наше время с его нуждами и опасными противоречиями, с его попытками веры, с его сомнениями и агрессивным неверием. Принадлежит ли для Вас Достоевский к тем писателям, которые говорили о глубоко лежащих, фундаментальных человеческих проблемах, то есть таких, которые остаются насущными сегодня и останутся такими в будущем? Или Вам кажется, что он был в своих чувствах и суждениях слишком тесно привязан к своей эпохе, стране и народу?

2. Если Вы полагаете, что Достоевского занимали сущностные, извечные проблемы, то не справедливо ли будет заключить: он пережил свое время именно потому, что был связан со своим временем; он имеет общечеловеческое значение именно потому, что ему никогда не удавалось отвести свой взгляд от русского человека?

3. Ценности, которые отстаивал Достоевский-романист, и те явления, против которых он порою так яростно ополчался, — какие из них кажутся Вам сегодня столь же актуальными, как в его время?

4. Стали бы Вы давать Достоевскому определение «политический писатель»? Если да, то почему? Из-за такого романа, как «Бесы»? Из-за политического эпизода в его молодости? Из-за тех взглядов, которые он отстаивал в «Дневнике писателя»?

5. Достоевский самым резким образом осуждал революционеров, атеизм, западную цивилизацию. На него многие нападали как на реакционера и даже царского холопа. Как бы Вы сегодня охарактеризовали его политическую эволюцию?

6. Враждебное отношение Достоевского к Западу отразилось в том числе в его путевых впечатлениях. Даже полный невежда не смог бы продемонстрировать такое отсутствие понимания, какое проявляет Достоевский, говоря о Флоренции, Париже, Лондоне. Кроме того, он ненавидел католиков, поляков, французов, евреев и т. д. Считаете ли Вы, что при оценке Достоевского следует учитывать и эти, до странности однобокие, его воззрения? Или мы имеем право о них забыть?

III

1. Многие полагают, что Достоевский был и остается прежде всего религиозным писателем. Как бы Вы определили особый, неповторимый характер его религиозности? Что значит такая религиозность для Вас? Как бы отнесся Достоевский к тем теологам, которые сегодня говорят о «смерти Бога»?

2. Возможно, именно эта особая, присущая Достоевскому религиозность способствовала тому, что он часто поддавался желанию изобретать ситуации крайние, чрезвычайные; причем поступки, при помощи которых его герои пытаются выбраться из таких ситуаций, тоже экстремальны. У Достоевского едва ли найдется произведение, в котором бы развитие интриги не определялось глубокой ненавистью, неудержимой страстью, насилием и убийством. Как объясняете Вы подобный «экстремизм»? Каково Ваше читательское отношение ко всему этому? И каково значение подобного «экстремизма» для Вас как писателя?

3. У Достоевского речь всегда идет о вине, однако ее искупление тоже всегда предчувствуется; причем часто путь главных героев ведет именно в этом направлении. Таким образом, грех и покаяние являются важнейшими мотивами у Достоевского. Это можно истолковать с психологическо-биографической точки зрения и/или увидеть в этом конкретизацию его основополагающих религиозных идей. Какому аспекту принадлежит здесь, на Ваш взгляд, решающее значение?

4. Достоевский считал, что главной проблемой его времени было безбожие, что победа безбожия должна привести к катастрофе, — и как ни удивительно на первый взгляд, массовое уничтожение людей и их бесконечные унижения в нашем столетии чрезвычайно напоминают то, что предчувствовал Достоевский. Являетесь ли и Вы сторонником мнения, что безбожие было основной проблемой тогда и остается ею по сей день?

5. Как известно, Достоевский желал осуществить, но так и не осуществил замысел большого романа о великом грешнике, который раскаивается в содеянном и становится мудрецом, святым. Старец Зосима и есть подобный святой, а многогрешный Ставрогин должен был им стать. Возможно, проживи Достоевский дольше, он таки написал бы задуманный роман о великом грешнике. Верите ли Вы в то, что подобной теме и сегодня можно найти применение? Что святого можно изобразить литературными средствами? Что сегодняшний революционер, к примеру, может при известных обстоятельствах быть уподоблен святому из романов Достоевского?

6. Обращались ли Вы в своих собственных произведениях к проблеме преступления и наказания? Ощущали ли Вы при этом прямую или косвенную зависимость от Достоевского?

IV

1. Многие считают Достоевского великим психологом, говорят о том, что он с величайшей проницательностью моделировал характеры своих вымышленных героев, выводил на свет тревожные и проблематичные стороны психики. Вы тоже придерживаетесь этого мнения? Если да, то в какой мере роман нашего времени является в указанном смысле психологическим? Не является он, скорее, антипсихологическим или не-психологическим, так как сегодняшние писатели часто представляют нам только отдельные аспекты своих персонажей, или вообще от персонажей остаются крохотные частицы? Следует ли из этого, что Достоевского пора отправить на свалку анахронизмов?

2. Некоторые другие придерживаются мнения, что героев романов Достоевского следует воспринимать не психологически, а как мифологические образы. Если выразиться яснее: его герои — не типы и не индивидуальности с ярко выраженным психологическим своеобразием, а гиперболизированные конкретизации некоего первообраза (*imago*); не индивидуумы, а, так сказать, люди вообще — люди, отраженные в разбитом зеркале, осколки которого еще не успели распасться. Если это справедливо, то приемлемо ли для Вас мнение, что Достоевский одним из первых создал такой тип героя, без которого уже не может обойтись философский роман, устремленный к сущностному, экзистенциальному? И напротив, что для реалистического и натуралистического романа такие герои вовсе не нужны?

3. В философском романе страсть, снедающая героя, обычно устремлена не на какого-то отдельного человека, не на деньги, не на достижение власти, а на идею. Можно ли в этом смысле считать романы Достоевского философскими? Не противоречит такому определению то обстоятельство, что деньги и алчность играют большую роль в его произведениях? Достаточно вспомнить «Игрока» и «Подростка». Впрочем, в обоих названных романах алчность при ближайшем рассмотрении оказывается проблематичной. Тем не менее почти во всякой его книге имеется персонаж, одержимый жаждой денег. Раскольников убивает не из алчности, а для того, чтобы избавиться от унижений бедности и достичь свободы. Смердяков убивает, чтобы избавиться от униженного положения; другие тоже мечтают о том. Но в таком случае: остается ли для Вас справедливым утверждение, что герои Достоевского одержимы идеей?

4. Как мог бы выглядеть роман в духе Достоевского, будь он написан сегодня, когда наше столетие уже склоняется к закату? Что, если бы такой роман был написан Вами?

5. Какой из героев Достоевского до такой степени близок Вам, что Вы были бы в состоянии изобразить его «брата» или «сестру» в романе из нашей современной жизни, соответствующим образом трансформировав некоторые черты?

6. Раскольников, Мышкин, Долгорукий, Ставрогин, Иван и Алеша Карамазовы — какими были бы они сегодня и что бы они делали? Этот наивно звучащий вопрос основывается на том предположении, что любой из них существует и по сей день, что они пребывают среди нас. Однако они — как в жизни, так и в литературе — приняли иные формы, иные облики. Какие именно?

Ответы З. Ленца

I

1. Имя «Достоевский» я впервые услышал в возрасте шестнадцати лет, от моего учителя, балтийского немца, который пробудил в нас любопытство своим замечанием: дескать, чтение романов этого русского, «объятого темным пламенем», можно уподобить настоящему приключению.

2. Сам я впервые прочел Достоевского, когда мне было двадцать лет. Я тогда был студентом философского отделения. Ослабший от голода, не желая расходовать калории понапрасну,

я много лежал в постели с книгами — вот так и был прочитан первый для меня роман Достоевского, «Родион Раскольников» (Преступление и наказание)¹.

Что произвело на меня самое сильное впечатление? Если находишься с кем-то в одном и том же положении, это уже побуждает к сравнению, соотнесению и, пожалуй, к солидаризации. Между мною и Раскольниковым несложно было найти параллели, по крайней мере в том, что касалось наших наружных обстоятельств, и сходства эти вызывали у меня непроизвольный интерес. Мы с ним были почти ровесники, оба мы были студенты, оба страдали от социальной нищеты; охваченные сходным возбуждением, сходной нерешительностью, изыскивали мы всяческие средства, чтобы вырваться из бедности. (Много позже, работая над пьесой «Время невинных»², я осознал, насколько малый промежуток отделяет сформулированный замысел от совершенного деяния.) Не будучи в состоянии по-настоящему следовать за философским ходом мысли Раскольникова, я восхищался тем, с какой решительностью он отбрасывает всеми принятые законы и нормы, как создает он сам для себя нормы новые, особенные. Чтобы оправдать убийство старой ростовщицы, он уподобляет себя великим законодателям и желает обладать теми же полномочиями, какие, не рассуждая, присваивали себе Ликурги, Магометы, Наполеоны, преступавшие и отменявшие все прежние законы. Тот, кто хочет насильно, плеткой погнать человечество к счастью, вынужден признать необходимость кровопролития; великий благодетель имеет право на убийство: ужасающая, однако подтвержденная историей закономерность. Неслыханное, помпезное, подобное грандиозному куполу, оправдание для убийства — придумавшему его оно способно дать что-то вроде философского алиби. Таково было тогда мое самое сильное впечатление от чтения «Раскольникова». Теперь, перечитав роман, я вынужден поправить сам себя. Очевидно, в ту пору я невнимательно прочитал разговор Раскольникова с Соней — похожий на исповедь разговор, в котором этот «убийца с философским алиби» сам говорит о том, что отличает его от истинных, прирожденных законодателей: его не прекращают мучить угрызения совести. Хоть он и тут еще продолжает требовать для себя алиби, подобающего человеку высшей породы, он не может переступить через кровь с тем равнодушием, с каким совершали подобный шаг его авторитеты и образцы. Он спрашивает себя, не был ли он просто зол? Не желал ли он всего-навсего избавиться от унижений бедности? И не является ли он всего-навсего человеком,

то есть такой же «вошью», как все прочие? Здесь звучат не только сомнения в совершенном деянии. Вся эта сцена — скептический вопрос, встающий перед каждым, кто считает себя вправе возводить свою волю в ранг закона и брать себе то, что ему хочется! Именно оттого и возбуждает в нас сочувствие этот убийца — оттого, что он терпит крах из-за своей неумершей совести.

3. Мир персонажей Достоевского мне всегда казался уникальным, одному этому писателю свойственным. Святотатцы и просветленные, богоискатели и мятежники, пьяницы, расточители, мелкие чиновники, голодающие, больные, утратившие последнюю надежду, жалостливые и безжалостные — на всех этих горячечных, экзальтированных людях (кстати, никогда не показанных нам за работой), на всех на них лежит особый отпечаток, свидетельствующий о том, что все они принадлежат Достоевскому. Никакой другой писатель не смог бы позаботиться о них лучше, чем он. И всё же, мне кажется, существует поразительное идейное родство между Достоевским и Ницше. Если бы устроить литературно-философскую викторину с заданием: определить, какие высказывания принадлежат Заратустре, а какие Раскольникову, — различить их было бы непросто. От убеждения, что боль и страдание необходимы человеку и представляют собой способ познания, и вплоть до мысли, что люди делятся на обычных и необычайных и в соответствии с этим подобает судить их поступки, — между ними обнаруживается столько ошеломляющих сходств, что можно подумать: Раскольников с толком читал Ницше и применяет его идеи на практике, — что, конечно, было не так.

4. Почти все персонажи Достоевского что-нибудь «представляют». Все они — олицетворенная идея, воплощение определенной позиции и опыта. Они делают наглядным, «передают» нечто: факел богоискательства или принцип скупости, опыт страдания или требование сострадания. В моем представлении настоящие персонажи Достоевского — это воплощенные идеи, максимы, убеждения, выводы, даже программы. Когда я сам только еще начинал писать, меня именно это больше всего и воодушевляло — грандиозный процесс переплавки, одушевления, зрелище того, как идеи обретают плоть. Нет ничего опаснее для писателя, как окружить себя тщедушными персонажами — «носителями идеи». У Достоевского можно поучиться тому, до какой степени взаимного проникновения могут соединяться запечатленная идея и живой человеческий образ.

5. Более живым, чем персонажи «Бесов», более близким, чем братья Карамазовы, остается для меня по сей день князь Мыш-

кин, этот прекрасный «идиот». Воплощение любви к ближнему, настоящий миссионер сострадания, незлобивый, ведущий себя с поразительной невинностью, провозвестник Добра. Мне кажется, в образе князя Мышкина заключена целая программа в духе христианского социализма, которую Достоевский примерял на общество своего времени. Очевидно, что князь Мышкин — аутсайдер. Люди, принадлежащие к «приличному» обществу, соприкасаясь с ним и реагируя на его поступки, в таком взаимодействии характеризуют прежде всего сами себя. (Вообще говоря, всякое общество характеризует само себя в зеркале того, как обращается оно со своими аутсайдерами!) Когда я думаю о сегодняшних социальных отношениях, мне кажется, что трагическое отчаяние, господствующее в финале этой книги, до сих пор совершенно оправданно; «идиот» Мышкин сохраняет для меня свой архетипический статус. Странно: у Дон Кихота без всякого труда (причем по доброй воле) получается быть смешным. Прикрываясь незнанием о мире, Дон Кихот тем немилосерднее обнажает перед нами слабости и пороки этого мира, — и мне нетрудно представить его себе симпатичным шутком, пожалуй, даже шутком, прикрывающимся маской глупости. А князя Мышкина я не могу представить себе шутком. Как ни странно, он ни разу не выглядит смешным. Он насквозь видит общество, основанное на стремлении к наживе и социальному престижу. Он считает, что подобное общество должно испытывать потребность в избавлении. Не умея дать избавление, он все же решается с ошеломляющей искренностью говорить людям этого общества о таких ценностях, как сострадание, доброта, человечность. Сразу же добавим: его речи обращены к обществу, которое он в действительности намного превосходит своим умом, но которое настолько преисполнено самодовольства, что считает себя вправе называть его «идиотом». Почему? Во все не по причине его эпилептических припадков; напротив, «священная болезнь» вызывает у его окружения сочувствие и растерянность. Скорее, причина состоит в том, что общество клеймит как «идиота» всякого, кто считает пагубными принятые в этом обществе конвенции и верит в то, что жизнь людей может и должна быть изменена, то есть верит в искупление. Общество презирает идиота не потому, что оно не верит в его чистоту и невинность, а потому, что испытывает тайный страх перед его добродетелью — силой, способной подточить привычные устои.

Отчего «Идиот» навсегда останется мне близок? Не в последнюю очередь оттого, что благодаря ему я узнал: любая утопия,

которую мы предлагаем людям (будь то утопия социальная или религиозная), связана с риском быть осмеянным, выглядеть сумасбродом. И в то же время: не порождая утопий, мы становимся соучастниками того зла, которое мы невольно одобряем своим молчанием. Высокое обязательство создавать утопию и конкретизировать ее очертания — в этом, думается мне, и состоит смысл образа Мышкина.

6. Достоевский — и Толстой. Здесь — перспектива «подполья», там — угол зрения человека, ощущающего себя господином, взгляд из Ясной Поляны. Здесь — порождения ночи, там — альпийский высокогорный ландшафт. Здесь — картина души с ее метаниями, мукой, потребностью в вере, там — прочная опора в земле, связь с которой ощущают толстовские герои. Должен сознаться, подобные попытки банальных сопоставлений кажутся мне ни к чему не ведущими. Достоевский и Толстой вовсе не исключают один другого. На глубинном уровне они, скорее, созвучны друг другу. Оба эти имени обозначают ширину спектра русской литературы. О литературе можно говорить, по справедливости, только во множественном числе. Кто из этих двоих мне ближе? Дело тут не в Достоевском или Толстом — дело во мне, в моем положении в жизни, в моем настроении, в направленности моего познавательного интереса.

II

1. Всё значительное совершается в определенном месте, в определенное время. Региональное в литературе — одно из условий ее мировой значимости. Маленькая железнодорожная станция в России, господский дом в Джефферсон-Сити, усадьба пастора в Дании, лавка с колониальными товарами на берегу фьорда в Норвегии — всё это сцены, на которых разыгрываются сюжеты мировой литературы. Чем упорнее изучает писатель «свою» точку пространства, «свой» конфликт, «свою» проблему, тем скорее постигает он целое. Изображаемые им заботы и надежды должны приобрести обобщенное значение. Если это получается, кажущаяся узость и ограниченность исчезают. Это касается любого писателя, в том числе Достоевского. Именно его нерасторжимая связь с эпохой, страной и народом способствует тому, что его значение не умерло вместе с его временем. Его романы не только не стареют, но и приобретают архетипическое значение, потому что в них изображены архетипические ситуации. Если кто-то отдает себя современному обществу с таким же самозабвением, как Досто-

евский, понятным и оправданным становится почти всякое чувство и всякое суждение. Для меня, например, вполне понятным выглядит его славянофильство: ведь оно исходило из убеждения, что русский народ избран Богом на то, чтобы смиряться и страдать. Конечно, само по себе соответствие эпохе еще не является гарантией продолжительной славы писателя; для этого необходимы и другие предпосылки. То, что по сей день делает Достоевского актуальным, — это его конфликты и утопические программы, предназначавшиеся для немедленного воплощения, это глубина страдания, побуждавшего его писать, это те основополагающие вопросы, которые литература задавала жизни не только в его эпоху, но и принуждена задавать всегда.

3. Крепостное право, страстным противником которого был Достоевский, давно отменено. От цензурных притеснений, которые он осуждал, до сих пор страдают писатели во многих странах. Как известно, он не был сторонником Великой Французской революции, так как считал, что ее итогом явилась свобода для немногих и несвобода для большинства. Мы хорошо знаем, что он защищал царизм и презирал нигилистов и террористов-революционеров. Что же в таком случае кажется мне актуальным по сей день? В особенности его ранние представления о социализме, которые, впрочем, вскоре потускнели и от которых он сам отрекся перед комиссией, занимавшейся рассмотрением дела Петрашевского, — пускай в известной мере показания Достоевского диктовались соображениями самозащиты. Такой социализм обнаруживает элементы раннехристианского коммунизма, основанного на любви (о подобном говорил Эрнст Блох²). Достоевский понимал, что христианство должно было быть приведено в согласие с требованиями цивилизации и современной эпохи. Вместе с тем такие поправки должны были улучшить христианство, как сам он позже писал о том в «Дневнике писателя». Социализм должен был стать условием такого улучшения. Социализм, стремящийся учредить и поддерживать социальную справедливость, и христианство с его требованием всеобщего братства, — сегодняшние священники в Южной Америке, нелегально проповедующие подобные идеи, по-своему конкретизируют соединение идей, обдумывавшееся Достоевским.

4. Полемика о романе «Бесы» с особой наглядностью демонстрирует, что Достоевского как политическое явление нельзя безоговорочно причислить ни к левым, ни к правым. Правые встретили «Бесов» непониманием, левые — недоверием и подозрительностью. Однако отсюда еще не следует, что Достоевский

был аполитичным писателем, — совсем напротив. Для меня он как писатель является особой партией, состоящей из одного-единственного человека, и чтение манифеста этой партии требует не только внимания, но и усидчивости. Ведь манифест этот — толщиной в многие тысячи страниц, а содержащиеся в нем политические предложения выражены не несколькими программными пунктами, а целым эпическим космосом. Я понимаю политику таким образом, что для меня политической является всякая деятельность, направленная на улучшение жизни людей, на то, чтобы люди чувствовали себя в этой жизни увереннее. Именно если смотреть на Достоевского с такой точки зрения (пусть даже не слишком принимая во внимание его политическую молодость — ведь в кружке Петрашевского он был по большей части слушателем), он очевидным образом является писателем политическим. Вполне ясно, что он видел необходимость изменений во многих областях: начиная от улучшения жилищных условий до новых, более деликатных способов воспитания детей, начиная с завуалированных намеков на более справедливое распределение собственности до требования обеспечить должный уход за больными. Его облаченное в эпическую форму представление о необходимости политических реформ затрагивает и вопросы судопроизводства, и социальные низы, деклассированных. Правда, для осуществления этих реформ ему казалось достаточным одно средство, при упоминании которого сегодняшние политики способны, пожалуй, только снисходительно улыбнуться, а именно: любовь к ближнему. Проникнутый социально-этическими принципами христианства, этот писатель выступал за то, чтобы любовь к ближнему стала основой политической деятельности. Пускай кто-то отнесется к подобным призывам с циничным высокомерием. С не менее циничным высокомерием было встречено недавнее заявление Вилли Брандта, что мораль должна быть составляющим элементом политики³.

Я хорошо знаю, что некоторые непредвзято смотревшие на вещи современники Достоевского считали его конкретные политические высказывания крайне наивными — как, например, французский дипломат де Вогюэ⁴. Несложно себе вообразить, что могло изумить профессионального дипломата в религиозно-политических грезах писателя, почерпнувшего свои воззрения не из Макиавелли, а из изучения гравитационного поля человеческой души. Законы власти (естественно-научные законы) значили для Достоевского меньше, чем значил для него, например, закон милости. Стоит напомнить, что когда Достоевский остано-

вил печатание своего «Дневника», тысячи читателей присылали ему письма, в которых говорили о том, чем стал он для них за эти годы — моральной совестью нации. (Конечно, я признаю, что этот титул довольно проблематичен и его следует понимать исходя из тогдашней исторической ситуации.)

III

2. Сам Достоевский считал себя трагиком. Как он признавался, он хотел изобразить трагизм «подполья» со всеми душевными страданиями, самоистязаниями, тоской по лучшему будущему и сознанием невозможности его достигнуть. Тем самым уже обозначено напряжение, дан закон: страдания неизбежны, полное счастье недостижимо. Поскольку Бог остается непостижимой тайной, действующие лица в романах Достоевского пытаются сами найти ответ на вопрос о смысле страдания. Искушения, испытания, необычайные ситуации служат тому, чтобы обосновать страдание и подтвердить подлинность веры. Крайне напряженные ситуации Достоевский считал наиболее пригодными для достижения этой цели именно потому, что они обладают наибольшей силой убеждения. С точки зрения драматизма повествования, как и с точки зрения психологии познания, экстремальные ситуации — это прием, который всегда можно оправдать. Потому что экстремальная ситуация заставляет использовать чрезвычайные художественные средства. А характеры в такой ситуации подвергаются безжалостному испытанию. Под ее чудовищным давлением становится явным то, что в обычное время остается скрытым. (Согласно Бретону — ночная суть человека⁵.) Кроме того, уместность крайних ситуаций у Достоевского часто проистекает из тех ужасающих условий, в которых живут его герои. В моих собственных произведениях я иногда тоже использовал экстремальные ситуации — в романе, в театральной пьесе, в рассказах. Зачем? Я исходил из того, что никто не может быть полностью уверен в самом себе и тем более не может дать гарантий на все вообразимые случаи жизни. До того, как мы пережили подобную ситуацию, мы, пожалуй, можем сказать, кто мы и что мы, — но только когда мы через нее прошли, мы узнаём, чем можем мы быть помимо того. Крайняя ситуация как миг наибольшей ясности относительно себя самого — именно так понимаю я склонность Достоевского к «экстремизму».

3. Когда Достоевский вернулся из сибирской ссылки, один из друзей сказал ему примерно следующее: это преступление,

что его, Достоевского, так долго без вины держали в заключении; на что писатель ответил, что он совсем не чувствует себя невиновным — народ успел доказать ему некую его вину⁶. И эти слова произнес вернувшийся с каторги человек, который некогда, оправдываясь перед комиссией, всеми силами пытался доказать свою невиновность! Некую вину... То есть для Достоевского вина — это что-то такое, что необязательно связано с одним проступком. Скорее, она является составной частью человеческого существования, чем-то вроде наследства, с которым каждый человек должен как-то управляться, должен признавать эту ношу, — пусть это и не «метафизическое приданое» по Киркегору⁷. По Достоевскому вину влечет за собой грех, то есть отпадение от веры, пролитие крови, безжалостное отношение к ближним. Тот, кто признает присутствие страдания, тот признает и присутствие греха. Никто не может целиком оправдаться, потому что, как сказано у Достоевского, «всякий пред всеми за всех и за все виноват»⁸, виноват за всё, что совершается на земле. Признание вины приводит писателя-человека к переживанию, которое в «Раскольнике» именуется «душевной потребностью». Имя этой потребности — покаяние. Покаяние и прощение — в космосе Достоевского это и есть счастье, возможность радости, нечто вроде душевной гигиены.

Думаю, указанную проблему нельзя объяснить чисто психологически или биографически. Всё это глубоко связано с религиозными убеждениями Достоевского. Отягченный виной, готовый к покаянию и прощению человек обязательно должен обратиться к программе конкретных действий — к деятельной любви к ближнему, в духе учения старца Зосимы. Тот, кстати, говорит о том, что доброе дело вознаграждается не на небесах, а здесь, на земле, вознаграждается радостью и внутренним миром, — только это доброе дело должно произойти, произойти прямо сейчас.

5. Под литературой я не в последнюю очередь понимаю попытку выяснить, насколько постижим оказывается человек в ту или иную эпоху, — пусть результат такой попытки состоит лишь в том, что мы вынуждены примириться с его непостижимостью. Поэтому литература вправе пользоваться всеми, любыми средствами, чтобы осуществлять эти нескончаемые попытки. Почему бы не использовать для той же цели и феномен святости в том смысле, какой дает ему Достоевский? До тех пор, пока святость является атрибутом, который многие дают немногим избранным людям, она подразумевает просто обязательство относиться к че-

му-то с почитанием, с восхищением. И поскольку такая склонность является врожденным свойством человека, святые тоже представляют собой благодатную литературную тему. Конечно, думая о святых нашего времени, я далек от мысли представлять их себе наподобие ходячих молитвенников или мудрецов, щедрых на душеспасительные изречения, как прежние фолианты с золотыми обрезами. Святость, как мне кажется, неизбежно подразумевает трагические, неразрешимые коллизии, боль гложущих сомнений. Святость в наше время — в моем представлении она возможна только как посюсторонняя святость. Необходимо отдавать себе отчет в том, что мы совершаем поступки, страдаем и каемся исключительно в этом, земном мире. Мудрость проигранных позиций, мудрость полученных шрамов — уже в этом скрывается возможность святости. Мученик, которого лишили возможности претерпеть мученичество, — он мог бы стать святым. Или революционер, который принял на себя всю тяжесть страданий, а теперь видит, как равнодушная история его страдания обесценивает. Впрочем, мне кажется, что подобные случаи — еще только предварительная ступень, ведущая к святости. Но разве этого уже не достаточно? И опять же — это было бы вполне в духе Достоевского, который так часто говорил о неспособности человека достигнуть желаемого. Материал, требующийся для того, чтобы стать святым, в человеке присутствует, однако перевоплощение в святого возможно только на время, не навсегда.

6. В моей пьесе «Время невинных» я затронул проблему преступления и наказания, анализируя тот душевный опыт, которым наделены многие наши сограждане, пережившие годы нацизма. Каким образом может человек остаться невинным в преступное время? И достаточно ли самому не участвовать в происходящем, чтобы остаться невинным? Такие вопросы я задавал в этой пьесе. Речь там идет о людях, которые хотя и знали о совершающихся преступлениях, но сами в них участия не принимали и ставили это себе в заслугу. Чтобы выяснить, чего же стоит такая невинность, я поставил действующих лиц в экстремальную ситуацию. В условиях сильнейшего морального и физического давления обнаруживается, что подобная невинность, происходящая преимущественно от того, что человек на многое закрывал глаза, на деле немного стоит. Хотя и без прямого влияния Достоевского, я пришел к близкому ему выводу: вина — нечто столь же всеобщее, существующее для всех, как и солнечное затмение. Она никого не обходит стороной. Чтобы уменьшить

собственную вину, нам следует быть готовыми принять на себя также вину других. В конце пьесы невинные, в числе которых есть и убийца, покидают замкнутое пространство: теперь перед ними открыт целый мир. То, что я отпускаю виновных на свободу, в мир, пожалуй, тоже напоминает Достоевского.

IV

1. Многократно перечитывая Достоевского, я убедился в том, что он является одним из самых замечательных психологов, причем не только своего времени. Как известно, его чрезвычайно высоко ценили Адлер и Фрейд, хоть Фрейд допустил по отношению к Достоевскому большую несправедливость, желая свести его всего-навсего к Эдипову комплексу. Я не сомневаюсь в том, что в эпическом космосе Достоевского найдется много материала для исследования психических патологий, как и психологии индивидуума. В сравнении с тем, как страстно роятся персонажи его романов в своих собственных душах, сегодняшние романы кажутся почти лишенными психологии. Если русский романист раскрывал перед читателем дифференцированный ландшафт человеческих душ, то сегодня предпочитают регистрировать явления внешнего мира. Сегодняшний литературный герой — всего лишь совокупность знаков, всего лишь результат нескольких случайно брошенных взглядов. Представлен ли подобный герой при помощи намеренно скудных художественных средств или, напротив, в ореоле словесного изобилия — мы все равно имеем дело с редукцией, сведением человека к сумме внешних способностей, рефлексов, действий; всё это напоминает складывание небольших сумм наличных денег. Таким персонажам-знакам, людям с ампутированной судьбой, соответствует и повествовательная манера, излюбленный сегодня эпический протокол. У Достоевского — безумная спешка, частые отступления от прямой линии действия, пересказ снов, обреченность человека его судьбе. У нынешних — скупые словесные формулы, отчет о лабораторном опыте, записи в книге регистрации актов гражданского состояния.

Разница более чем очевидна. Однако всякий хорошо знающий Достоевского не допустит даже мысли о том, что Достоевского сегодня следует считать устаревшим и далеко превзойденным. Модели и идеи, заложенные в его персонажах, ничуть не утратили своей актуальности. И до тех пор, пока кто-то к примеру, будет мечтать о том, чтобы превратить собственную жизнь в экспери-

мент (а такое будет случаться всегда), Раскольников будет жить среди нас, а Достоевский останется современным писателем.

3. Хотя Достоевский иногда использует некоторые публицистические приемы, его роман сохраняет все признаки психологического произведения. Я не усматриваю противоречия в том, что страстная любовь к идеям может дополняться или перебиваться страстью к конкретным вещам. Достоевский требовал от своих собственных романов (слушайте и ужасайтесь!) читабельности, а это означает помимо всего прочего: доходчивости, сюжетного напряжения, занимательности. Само собой разумеется, что чистый роман идеи потребовал бы от читателя готовности мириться со скукой, пусть и благородной скукой. Кроме того — и это, пожалуй, имеет решающее значение — Достоевский желал изобразить постоянных и действенных противников всякой идеи: тупую алчность, жажду власти, хищнические инстинкты. Наглядно демонстрируя, какие силы (помимо страсти к идее) властно понуждают нас к действиям, он тем самым придает идее статус чего-то более высокого. Срабатывает принцип дополнительного освещения. Притом идея — это не что-то имеющееся в чистом виде, это всегда квинтэссенция. Утверждение, что герои Достоевского одержимы идеями, остается справедливым.

4. Каким я представляю себе роман в духе Достоевского, написанный сегодня, написанный мною самим? Быть может, это мог бы стать роман с такой вот линией действия: перед нами пожилой судья, которого считают мудрым человеком и даже любят. Многие годы он — в каком-нибудь отдаленном государстве — изрекал приговоры, руководствуясь действующим законодательством, а если у него была возможность сделать приговор более мягким, использовал это на благо подсудимого. И вот однажды к нему приезжает друг юности; скажем к примеру, известный швейцарский писатель. В долгом ночном разговоре писатель доказывает судье, что тот служит закону, учрежденному преступниками. Иначе говоря: в стране, где проживает судья, преступление возведено в закон, а это значит, что все правовое сознание судьи было перевернутым с ног на голову. Глубоко потрясенный, судья отказывается дальше исполнять свои профессиональные обязанности. Он дает себе клятву никогда больше никого не судить. Он решает совершить длительную покаянную поездку, посетить всех тех, которые были осуждены при его участии, и просить их о прощении. Но по ходу поездки его внутренняя растерянность только усугубляется, потому что прежние осужденные встречают его с откровенной радостью и благодарностью. Все его при-

ветствуют, называют благодетелем, устраивают празднества в его честь. И только один человек отказывается принять его. Это тяжелобольной, прикованный к постели. Судья просто счастлив. Он снимает комнату на постоялом дворе и каждый день по два раза безрезультатно пытается навестить того человека. Он словно кружит вокруг больного, подходя к нему все ближе, завязывая контакты с его детьми и т. д. Но тот не хочет его принимать. Реконструируя в голове тот старый процесс, судья вспоминает, что больным был его коллегой, судьей в одном маленьком округе, и был осужден за уклонение от буквы закона. Наш судья пытается через посредников узнать, не может ли он сделать что-то такое, после чего больным его примет. Ответа нет. Однажды, в рождественский вечер, к судье приходит дочь больного с письмом: окружной судья готов принять своего именитого коллегу и простить его, однако при условии, что тот обязуется изречь такой же приговор, какой некогда произнес осужденный. Наш судья оказывается перед дилеммой: с одной стороны, данная им клятва никогда больше не судить, с другой стороны — возможность искупления и прощения. После долгой внутренней борьбы судья нарушает свой обет, потому что прощение одного-единственного человека для него оказывается важнее. Он возвращается в свое ведомство, ему поручают ведение процесса, и он изрекает приговор, подобный тому, который когда-то произнес окружной судья. Он спешит к больному с вестью о том, что поставленное условие исполнено, — и оказывается у смертного ложа. На обратном пути его арестовывают, затем осуждают. По дороге в тюрьму он подводит итог: ему не в чем себя упрекнуть.

6. Кем могли бы быть герои Достоевского, живи они сегодня среди нас?

Алеша Карамазов, некогда любимый ученик Зосимы, друг всех отчаявшихся и любитель вишневого варенья, сегодня мог бы, к примеру, жить в Гамбурге и с успехом наблюдать за поведением условно осужденных лиц во время их испытательного срока. Уж он-то для каждого подопечного найдет наилучший способ социальной реинтеграции. Под влиянием Алеши его однажды оступившиеся подопечные добровольно обязуются больше не читать газет издательства «Шпрингер», а вместо того читать «Воскресный листок» епископа Лилье⁹.

Ставрогин, говоривший о себе: «Из меня вылилось одно отрицание», стал ведущим рубрики и автором колонки душеполезных советов в журнале, выходящем под заглавием «Деструкция» и требующем ни много ни мало покончить с человеком. Хри-

стианско-социальный союз неоднократно требовал запретить журнал из-за того, что Ставрогин как-то написал в передовице: «Готовьте друг другу тяжкие испытания! Будьте злыми! Будьте самовлюбленными! Упивайтесь жестокостью! Сквозь преступления шагайте к совершенству! Не старайтесь быть любезными, ведите себя по отношению к другим так, как свойственно человеку, то есть готовьте ад для себя и других!»

Раскольников, несколько лет тому назад представлявший «Ячейку красных студентов-юристов» в Свободном университете Берлина, с отличием сдал выпускной экзамен и стал адвокатом. В настоящее время он ведет грандиозный процесс против экономического закрепощения людей в Западной Германии, защищая интересы 1,4 миллиона сограждан, испытывающих материальную нужду из-за необходимости выплачивать кабальные проценты по договорам о покупке в рассрочку.

А князь Мышкин? Его, случается, удается встретить во время книжной ярмарки, ночным портье в отеле «Франкфуртер Хоф». С мечтательной откровенностью он рассказывает слушателю, что чаевые ему здесь дают необыкновенно щедрые, а он, в свою очередь, охотно выслушивает исповеди переутомленных издателей. Как он признается, заработанные деньги он откладывает на нужды друзей, с которыми его связывает «сомнамбулическое взаимопонимание». Друзья эти — дети гастарбайтеров, для которых он в один прекрасный день намерен открыть детский сад, не дожидаясь на то официального финансирования.

